

Осмысление и понимание книги «Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение»

Розин В.М.,

д. филос. н., профессор,
главный научный сотрудник
Института философии РАН, Россия,
109240, г. Москва, ул. Гончарная, 12, стр. 1
ORCID: 0000-0002-4025-2734
rozinvm@gmail.com

Аннотация: В статье обсуждается книга А. Юрчака, в которой он предлагает научное объяснение причин и процесса завершения социалистической культуры и гибели СССР. Автор анализирует центральное понятие, используемое в этом объяснении, — «авторитетного дискурса», показывая, что последний истолковывается двояко: в рамках семиотического подхода, намеченного Джоном Остином, и «диспозитивного» подхода, разработанного Мишелем Фуко. Опираясь на анализ кейса из книги, автор предлагает свою реконструкцию и понятия («схемы», «жизненного мира», «социальности»), которые могут дополнить исследование Юрчака. Сравнение объяснения последнего и выполненного в период перестройки и реформ объяснения социолога Леонида Ионина позволило уточнить подход и методологию Юрчака.

Ключевые слова: дискурс, диспозитив, подход, текст, понимание, смысл, реконструкция, культура, сознание, индивид.

Пожалуй, это самая серьезная и интересная книга, прочитанная автором на эту тему в последние годы. Убеждает простая и изящная схема объяснения и замечательные примеры (как будто снова побывал в СССР тех лет). Однако к теоретической схеме, положенной в основание объяснения, все же есть вопросы по пониманию. Но по порядку.

Теоретическое объяснение такое. Сознание советских людей было сформировано многими факторами (революцией, гражданской войной, декретами, идеологией, другими социалистическими практиками), которые Юрчак представляет как совокупное действие «авторитетного дискурса», имеющего два плана — «констатирующий» и «перформативный». Первый задает «смыслы», выражающие объективные ситуации, и поэтому оценивается по критериям «истины и лжи», второй ориентирован на решение задач, стоящих перед социальными акторами, соответственно, оценивается на «эффективность». Первоначально существовала внешняя объективная позиция (ее представлял Сталин), в рамках которой однозначно задавался и строго нормировался смысл авторитетного дискурса. Позднее, со сменой парадигмы с «авторитарной» на естественную («требование учитывать законы языка») и смертью Сталина, внешняя позиция исчезла, и чтобы правильно задавать смыслы, пришлось стандартизировать авторитетный дискурс,

сводя все высказывания к историческим образцам, что Юрчак истолковывает как воспроизведение чистой формы, как бы лишенной смысла. Но именно последнее позволяет в рамках перформативного плана строить высказывания, выражающие новые смыслы, нужные отдельным социальным акторам. Этот процесс, утверждает Юрчак, имел много последствий, главные — появление и расширение зоны свободы, в которой постепенно складывались новые уже неидеологические практики, а также возможность существовать сразу в двух реальностях — социальности, соответствующей авторитетному дискурсу, и социальности или групповой («публики своих», «сообщества», «свои»), или приватной, или воображаемой (например, «воображаемый Запад»), выпадающей из этого дискурса. Юрчак, следуя за Бахтиным, назвал подобное существование «внеаходимостью». Именно эти процессы и обусловили трансформацию российской социальности, а с приходом Горбачева, предложившего осмыслять и критиковать авторитетный дискурс, привели к быстрому распаду СССР.

Юрчак пишет: «...упомянув этот поворот в сторону возрастающей стандартизации и повторяемости, мы предложили впредь называть его „авторитетным дискурсом“. Этот термин Михаила Бахтина использован для того, чтобы подчеркнуть, что стандартизация *формы* идеологического дискурса сопровождалась его глубоким *смысловым сдвигом*, в результате которого этот дискурс потерял задачу более-менее верного описания реальности, т. е. классическую задачу идеологии... <...> теперь различные тексты, написанные на этом языке, все больше походили на цитаты из неких предыдущих текстов, а значит, все больше походили друг на друга. <...> Напротив, в результате того, что наиболее важной стороной авторитетного дискурса стало перформативное повторение его стандартных *форм*, смысл, который приобретало то или иное высказывание (констатирующая составляющая смысла), все меньше был связан напрямую с конкретным контекстом, открывшись для новых неожиданных интерпретаций и толкований. <...> Всем казалось, что куда разумнее направлять свою творческую энергию на достижение реальных целей, чем требовать от идеологического органа действовать в соответствии с *буквальным смыслом* партийных заявлений, которые практически никто, включая руководство самого этого органа, буквально не воспринимал. <...> Хотя советский субъект продолжал воспроизводить форму авторитетных высказываний, теперь он также играл роль *автора* этих высказываний, способного наделять их новым смыслом, не запланированным партией... то есть субъект оказался в отношениях внеаходимости к этому дискурсу. <...> Смысл существования *вне* системы — одновременно *внутри* и *за* пределами — можно проиллюстрировать фразой «вне поля зрения»... Хотя такое отношение субъекта к системе не является отношением сопротивления государству, оно постепенно изменяло систему, делая государство потенциально хрупким и готовым (в определенных условиях) к неожиданному обвалу...» [7, с. 91, 109, 136, 216, 268, 266].

Первый вопрос, который у меня возник: каким образом Юрчак понимает, что такое «дискурс»? Дело в том, что, с одной стороны, он связывает дискурс со «смыслами», не определяя последние, с другой — выделяет в дискурсе констатирующие и перформативные составляющие смысла, с третьей стороны, дискурс в его построениях как-то соотносится с практиками и ритуалами. Спрашивается, как все это понимать? «Высказывания, — объясняет Юрчак, — это динамические процессы, смысл которых создается

и реинтерпретируется в процессе речи, практики и ритуалов. <...> ...язык включает в себя и категорию высказываний, которые не конституируют уже существующие факты, а создают новые — то есть не отражают существующую социальную реальность, а что-то в ней изменяют <...> опираясь на эту идею, мы будем впредь говорить о констатирующей и перформативной составляющих конвенциональных высказываний и ритуализированных актов...» [7, с. 62, 63–64, 69–70].

Юрчак ссылается не только на теорию речевых актов Джона Остина, который, как известно, предложил деление высказываний на перформативные и констатирующие, но и на Мишеля Фуко, охарактеризовавшего, что собой представляет дискурс. Понятие дискурса у Фуко имеет два разных значения: «публичный» дискурс, декларируемый общественным сознанием, обсуждаемый в научной и философской литературе, и «скрытый дискурс», который исследователь (в данном случае Фуко) выявляет, реконструирует в качестве истинного состояния дел. Метод Фуко — это движение от публичных дискурсов-знаний к скрытым (реконструируемым) дискурсам-практикам (и властным отношениям), а также от них обоих к таким социальным практикам, которые позволяют понять, как интересующее исследователя явление (например, секс или безумие) конституируется, существует, трансформируется, вступает во взаимоотношения с другими явлениями. И наоборот, это движение от соответствующих социальных практик к скрытым и публичным дискурсам. Понятием, схватывающим этот метод Фуко, правда, в онтологической форме, является представление о «диспозитиве».

«Что я пытаюсь ухватить под этим именем, — пишет Фуко, — так это, во-первых, некий ансамбль — радикально гетерогенный, — включающий в себя дискурсы, институции, архитектурные планировки, регламентирующие решения, законы, административные меры, научные высказывания, философские, но также моральные и филантропические положения, — стало быть: сказанное, точно так же, как и не-сказанное, — вот элементы диспозитива. Собственно диспозитив — это сеть, которая может быть установлена между этими элементами.

Во-вторых, то, что я хотел бы выделить в понятии диспозитива, это как раз природа связи между этими гетерогенными элементами. Так, некий дискурс может представлять то в качестве программы некой институции (*то есть публичного дискурса. — В.Р.*), то, напротив, в качестве элемента, позволяющего оправдать и прикрыть практику, которая сама по себе остается немой (*эта практика реконструируется как скрытый дискурс. — В.Р.*), или же, наконец, он может функционировать как переосмысление этой практики, давать ей доступ в новое поле рациональности (*мы бы сказали, что в данном случае речь идет об условиях, обеспечивающих трансформацию и развитие. — В.Р.*).

Под диспозитивом, в-третьих, я понимаю некоторого рода — скажем так — образование, важнейшей функцией которого в данный исторический момент оказывалось: ответить на некоторую неотложность. Диспозитив имеет, стало быть, преимущественно стратегическую функцию» [6, с. 368].

Так вот, материал книги показывает, что Юрчак, говоря о дискурсе, реализует два разных подхода: *семиотический*, высказывание как речь, имеющая смысл, и, так сказать, *диспозитивный*, дискурс — это своего рода сеть, включающая собственно высказывания, обусловленные ими представления социальными акторами, ритуалы и практики, в том числе властные. К обоим трактовкам дискурса есть вопросы. Хотя примеры позволяют понять,

о чем идет речь, все же в теоретическом плане непонятно, как высказывание задает смысл и что это такое. Существует огромное число трактовок понятия «смысл», какое имеет в виду Юрчак? Неясно также, каким образом он переходит от высказываний к представлениям индивида и практикам. Чтобы пояснить данное вопрошание, рассмотрим один пример, который Юрчак приводит как иллюстрацию выключения индивида из «своих» и переориентацию с перформативного смысла авторитетного дискурса на констатирующий смысл.

«Одному молодому библиографу, выпускнику кафедры классической филологии Ленинградского университета, предложили перейти на работу в качестве преподавателя латыни в духовной академии. Поскольку данный библиограф был комсомольцем, райком обязал комитет комсомола библиотеки провести с ним беседу, проверить его идеологическую благонадежность и представить рекомендацию о целесообразности «показательного» исключения этого человека из рядов ВЛКСМ.

Вначале члены комитета комсомола были расположены к молодому библиографу положительно. Он был «нормальным человеком» (*т. е. своим. — В.Р.*) и совсем не казался набожным... Однако мнение членов комитета неожиданно для них самих поменялось в процессе собеседования с этим человеком. Ирина вспоминает...

Этот человек не хотел разговаривать с нами как с нормальными людьми. Он повел себя вызывающе, всячески пытаясь показать, что ему абсолютно плевать на наше мнение. И в общем, все мы, члены комитета, стали на него нападать. Кто-то назвал его предателем родины, кто-то спросил с издевкой: «Ну а если бы тебе предложили работу в ЦРУ, ты бы тоже согласился?» Это, конечно, было идиотским сравнением. Но после этих слов мы как-то все вместе набросились на этого парня. Все наше расположение к нему улетучилось.

Представители райкома, требовавшие провести это обсуждение в комитете комсомола, прекрасно сознавали, что оно будет проформой, так как независимо от тона, в котором оно пройдет, и от его результатов райком уже заранее решил исключить этого человека из комсомола. Непосредственные участники собеседования — члены комитета комсомола библиотеки... собирались свести собеседования к дружеской беседе и не акцентировать внимание на возможном исключении молодого человека из комсомола, показав себе и этому человеку, что они его в принципе прекрасно понимают, и все они являются *своими*. Члены комитета не предполагали того смысла, который этот идеологический ритуал приобрел в процессе встречи, когда члены комитета неожиданно для себя самих переориентировались с перформативного смысла авторитетного дискурса (с воспроизводства чистой формы ритуала, при наделении его своими смыслами) на конституирующий смысл (непосредственный *буквальный* смысл высказываний на авторитетном языке), которому они обычно не придавали слишком большого значения» [7, с. 230–232].

Хотя в скобках Юрчак поясняет, что он имеет в виду под смыслом, все же это непонятно, но сам пример, конечно, понятен и показателен. Кстати, в середине 80-х со мной произошел похожий случай: я, будучи членом партии и заведующим сектором социально-экономических обоснований, отказался на собрании осудить двух сотрудников института,

подавших заявления об отъезде в Израиль. На следующий день уже меня исключали из партии, и один из членов партбюро бросал мне в лицо примерно такие же слова, как нашему молодому человеку. Несмотря на яркость примера, на мой взгляд, в теоретическом отношении он недостаточно убедителен. Поэтому я предложу другое его истолкование, опираясь на разработанные мной понятия, прежде всего, понятия «схема», «жизненный мир», «социальность». Два слова об этих понятиях.

Схема создается как посредник между проблемной ситуацией, складывающейся в культуре, присваиваемой индивидом, и новой реальностью, выраженной в этой схеме. Она изобретается. Схема представляет собой семиотическое образование, задает данную реальность и отчасти видение. В психологическом плане схема обеспечивает понимание, а в прагматическом — возможность построения нового действия (например, в науке идеальных объектов, в искусстве метафор и других «тропов»). Скажем, схема метрополитена разрешает следующую проблемную ситуацию — организация потоков пассажиров в метро и ориентация в нем отдельного человека. Она задает метро как транспортную реальность. Схема метрополитена создавалась инженерами и дизайнерами. Это графический и вербальный текст, описывающий транспортную реальность (входы и выходы из метро, маршруты движения, пересадки, станции). Схема метрополитена позволяет пассажирам выстраивать правильные маршруты и осуществлять другие необходимые действия [3].

Жизненный мир человека складывается под влиянием внешних факторов и собственной работы человека в отношении самого себя. По составу жизненный мир образуют события и предметы. В результате разрешения экзистенциальных проблемных ситуаций жизненный мир перестраивается, что и образует важный аспект развития человека. Необходимое условие подобной перестройки — осознание (рефлексия) новой реальности жизненного мира [4].

Социальность — довольно сложное понятие [5], но для нашей темы важна такая ее характеристика, как «социальная среда», которая, с одной стороны, задается «другими» и социальными нормами (например, нормативным дискурсом), в том числе и неожиданными социальными обстоятельствами, а с другой — конституируется сознательно или бессознательно самим индивидом, существующим в этой среде. Теперь мы можем дать свою интерпретацию изложенному выше случаю.

Члены комитета комсомола библиотеки считали нашего молодого человека своим, поскольку он раньше не высказывался поперек авторитетного дискурса (будем этого молодого человека условно называть преподавателем). На самом деле, вероятно, преподаватель не был своим, его жизненный мир был отличным от жизненного мира остальных участников собеседования. Но, понимая советскую действительность и необходимость жить соответственно сложившимся обстоятельствам, преподаватель предлагал при общении со своими коллегами только те схемы, которые отвечали авторитетному дискурсу. Не стоит думать, что он сознательно обманывал их, нет, прекрасно помню по себе, подобное «творчество» совершается автоматически и почти неосознанно.

Совершенно другая ситуация сложилась в связи с переходом преподавателя в духовную академию, судя по всему, он знал, что в райкоме его все равно исключат из ВЛКСМ, чтобы там ни говорили на собеседовании в самой библиотеке. Прекрасно понимал и все негативные социальные последствия, следующие за этим решением. Эту проблемную ситуацию преподаватель разрешает, предпочитая на собеседовании следовать не логике

авторитетного дискурса, а логике своего жизненного мира. Он решает не скрывать от коллег свои взгляды на советскую жизнь и действительность. Практически все это осуществляется преподавателем в форме построения и трансляции членам комитета комсомола схем, которые создали для последних неожиданную проблемную ситуацию («не хотел разговаривать с нами как с нормальными людьми... повел себя вызывающе, всячески пытаюсь показать, что ему абсолютно плевать на наше мнение»).

В свою очередь члены комитета комсомола библиотеки разрешают возникшую проблемную ситуацию следующим образом. Они создают схемы, в которых преподаватель истолковывается как предатель и чужой (не свой). Тем самым оправдывается решение, позволяющее им остаться в рамках авторитетного дискурса и одновременно сохранить лицо перед самими собой. Конечно, они вместо живого человека придумывают нужного им «нехорошего преподавателя» (предателя и чужого), и отчасти даже это осознают, но таковы были правила социальной игры (жизни). Интересно, каковы они в настоящее время?

Поскольку, создавая свою версию, я опираюсь и на разработки Юрчак, мою интерпретацию нельзя рассматривать как оппозицию этим разработкам. Скорее как осмысление и дополнение. В свете этой версии можно уточнить и такое положение. Юрчак утверждает, что описанный им процесс привел к достаточно быстрому краху СССР. «В конце концов парадокс позднего социализма свелся к следующему: чем больше советская система при участии всех своих граждан воспроизводила себя как систему, которая казалась монолитной и неизменной, тем больше она мутировала, внутренне изменялась, становилась менее похожей на свое самописание, менее понятной и предсказуемой... реальный социализм в жизни советских людей к тому времени изменился настолько сильно, что он более не сводился лишь к идеологическим высказываниям и ритуалам партии, а стал, напротив, видом «нормальной жизни», наполненной разнообразными интересами, смыслами, отношениями и идеалами, которые государство не могло до конца предвидеть и контролировать» [7, с. 581, 582].

Получается, что граждане СССР вышли из социализма «нормальными людьми» с нормальными «интересами, смыслами, отношениями и идеалами», что 70 лет коммунистического воспитания и тоталитаризма можно было отбросить уже в последний период социализма. Вряд ли это так, точнее, совсем не так. Последующая история показала, что вменение коммунистических идеалов, социалистическая и тоталитарная переделка человека существенно сказались, ну не на всех, но на большинстве. Юрчак все же недооценивает глубину трансформации советского человека, некритическую веру его в партию и вождей, передачу властям всех основных политических и социальных решений; получился тип человека, полностью передоверивший себя государству. Вспоминаю поразивший меня в свое время эпизод романа Е. Гинзбург «Крутой маршрут». Она уже освободилась из лагеря, разоблачен культ личности, прекрасно знает по лагерным общениям преступления партийной власти, но, тем не менее, продолжает верить в партию, в ее обновление, даже пытается защитить Сталина, говоря: «Ах, он все-таки был большевик, он строил социализм» [2].

Есть еще один вопрос: достаточно ли трансформации, на которую указывает Юрчак, для завершения и гибели целой культуры? Вроде бы недостаточно. К трансформации, которую так тщательно рассмотрел Юрчак, нужно добавить еще несколько процессов. Не

просто крах веры в коммунизм, который стал пониматься очень условно, но и крах убеждения, что СССР — самая демократическая и свободная страна, которая обязательно обгонит и победит капиталистические страны. Напротив, приходилось признать бедность нашей страны в сравнении с этими странами, признать экономическую отсталость СССР. Постепенно сознанием овладевало и более общее понимание, что капитализм в лице развитых западных стран победил социализм в соревновании, что российская власть и партия вели страну куда-то не туда. В частности, потому что не были учтены многие объективные факторы — хозяйственно-экономические и социальные.

Ради справедливости нужно отметить, что на основной вопрос Юрчака — почему советская система изжила себя и рухнула в одночасье — пытались ответить задолго до него, например, известный социолог Леонид Ионин. Рассмотрим его объяснение, поскольку в методологическом отношении Ионин реализует другую стратегию, вроде бы учитывающую те недостающие факторы, на которые я указываю. Объяснение Ионина многофакторное, ближе к культурологическому и философскому, а Юрчака — сугубо научное. Учтем также, что объяснение Ионина было дано в период перестройки и реформ.

Одно из центральных представлений Ионина — понятие «моностилистической культуры». Моностилистическая культура характеризуется им признаками телеологичности, канонами языковой и культурной деятельности, нормами доминирующего мировоззрения, тотальностью, подавлением «чуждых культурных элементов». Анализируя сакральное ядро советской культуры, Ионин приходит к выводу о том, что «культурные факторы (логика моностилистической культуры) практически всегда и везде оказывались более сильными и более эффективными, чем соображения хозяйственной, экономической целесообразности. <...> Поскольку логика моностилистической культуры по мере течения времени входила во все более глубокий конфликт с экономической реальностью и поскольку приоритет всегда отдавался первой, советская экономика в конце концов пала жертвой советской культуры, а не наоборот, как это считается обычно. <...> Можно констатировать парадоксальную ситуацию: крайне рационализованная, насквозь бюрократизированная система, технократическая по существу, к тому же всюду и всегда декларировавшая свой “научный” характер, постоянно впадала в вопиющий антирационализм, приведший в конечном счете к подрыву ее собственных рациональных оснований» [1, с. 186–187].

Ионин старается объяснить, почему это произошло. Он пишет, что набор формулируемых в идеологии «законов социализма» (гармоничного сочетания при социализме общих и частных интересов, неуклонного повышения благосостояния социалистического общества, непогрешимости высших уровней управления, действующих якобы на основе объективных законов) «фактически открывал перед практиками управления возможности неограниченного и произвольного вмешательства в ход социальных и даже природных процессов. Единственным ограничителем мог быть недостаток природных и человеческих ресурсов, но коммунистам досталась богатая страна, а практика обращения вождей с “человеческим фактором” удесятерила возможности системы. В результате ничем не ограниченное управление, опирающееся на “объективно оптимистические” представления о законах развития, становилось административным произволом, приводило к расточительному расходованию ресурсов, а если это не приносило требуемого эффекта, то применялось насилие, подтверждающее те самые представления, на которых он, этот произвол, основывался.

Все это позволяет сделать вывод о природе практической идеологии, на которой долгое время зиждилась управленческая деятельность в советском обществе. В ее основе лежат два принципа, внешне противоречивых, а по сути тесно взаимосвязанных и дополняющих друг друга: первый из них — технократический принцип произвольности, создающий иллюзию легкости и безграничных возможностей преобразовательной деятельности; второй принцип — сакральный принцип органичности, позволяющий, благодаря признанию “объективных преимуществ”, обосновывать справедливость и целесообразность деятельности любого рода независимо от того, какие социальные последствия она влечет за собой» [1, с. 188].

Характеристики полистилистической культуры, которая, по мнению Ионина, пришла на смену моностилистической, во многом задаются оппозиционно к моностилистической. Это деиерархизация, деканонизация, неупорядоченность, детотализация, эзотеричность вместо официального консенсуса, негативность и атеология (то есть «отказ признавать какую-либо цель развития культуры, общества, цель жизни, человеческого существования вообще» [1, с. 191–192]). Не обходит Ионин стороной и вопрос о том, как при переходе от моностилистической к полистилистической культуре складываются в России новые культурные модели и формы жизни. Здесь два основных процесса — «культурные инсценировки» новых моделей жизни и поиск «утраченной личностной идентификации». «В результате стремления “показать себя”, — пишет Ионин, — “внешняя”, презентативная сторона возрождаемых культурных форм стала важнее “внутренней” — теоретической, доктринальной. Она стала и наиболее важной, так как позволяет вербовать новых сторонников. Резкое увеличение численности российских кришнаитов объясняется не глубиной и совершенством моральной доктрины, а привлекательностью театрализованных уличных шествий, участники которых в розовых одеждах несут развевающиеся флаги и распевают гимны. Точно так же монархисты увеличивают число сторонников не столько благодаря своей политической теории (если она у них и есть, то в самом примитивном неразработанном виде), сколько по причине зрелищности торжественных молебнов и подчеркнуто аккуратного ношения дореволюционной офицерской формы.

Распад моностилистической культуры привел к разрушению традиционных систем личностных идентификаций. Многочисленные новые формы и традиции предлагают альтернативные возможности идентификаций. В этом смысле внешняя, презентационная сторона играет важнейшую роль: для людей, которые пытаются установить новые связи с жизнью взамен утраченных, внешние знаки идентификации являются знаками быстрого и скорого выхода из нынешнего их неустойчивого положения. Поэтому они надевают розовые одежды кришнаитов, русскую офицерскую форму, раскрашиваются под панков и т. д., часто даже не имея представления о доктринах, обуславливающих эти внешние проявления» [1, с. 194].

Ну, а что нас ждет завтра? Ионин делает следующий осторожный прогноз: если не скатимся к «культурному фундаментализму», то есть надежда. «Так же, — пишет он, — как плюралистическая демократия, полистилистическая культура может осуществиться в действительности, если реализованы две предпосылки. Первая предпосылка — терпимость граждан по отношению к новым и чуждым культурным стилям и формам, их готовность жить в достаточно сложной полистилистической культурной среде. Вторая предпосылка —

наличие формальных (в том числе законодательно утвержденных) правил взаимодействия различных стилей, форм, культур, традиций в нормальном контексте повседневной жизни.

Сейчас крайне трудно оценивать уровень терпимости и готовности к мирному культурному существованию всего населения бывшего Советского Союза. С одной стороны, налицо более чем семидесятилетний опыт сосуществования в многонациональном государстве, когда между нациями границы отсутствовали, более четверти населения проживало вне “своих” национальных регионов, развивались и крепились реальные традиции культурного добрососедства. С другой стороны, это добрососедство можно объяснить как случайное явление, как вынужденное сплочение перед общим и одинаковым для всех бедствием, каким был коммунистический режим. Усиление национальной вражды, национальный изоляционизм, нетерпимость, сепаратизм, необычайно усилившиеся после распада СССР, свидетельствуют в пользу второго объяснения. Но все же остается надежда, что после периода националистической эйфории, вызванной становлением самостоятельных национальных государств, начнут восстанавливаться прежние культурные, хозяйственные и просто родственные связи, и многокультурное сожительство вновь станет нормой. Нынешние конфликты носят в основном политический характер и в принципе преодолимы.

Аналогичные проблемы возникают и при выработке формальных демократических правил, регулирующих взаимодействия не только в политической, но и в культурной сфере. Предшествующее, советское культурное законодательство создавалось исходя из потребностей моностилистической официальной культуры. Поэтому на современном этапе развития либо сталкивается с устаревшими нормами и предписаниями, либо происходит в правовом вакууме. В последнем случае царит произвол разного рода чиновников. Все решают деньги, политические предпочтения, потребности и закономерности собственно культурного развития отходят на второй план.

Но и само развитие культуры в период перехода от моностилистической культуры к полистилистической, то есть в период, как было сказано, стилистического промискуитета, таит в себе опасные с точки зрения будущего тенденции, а именно тенденции культурного фундаментализма <...>

В этом анализе, я думаю, ключевым является слово “тотализация” — тотализация мировоззрения и образа жизни. Чисто логически пределы возможной тотализации всегда фиксируются “изнутри” — они заложены в самом содержании доктрины и традиции, представляющих тот или иной культурный стиль. В процессе инсценирования каждый культурный стиль движется к этому пределу, то есть к фундаментализации, к формированию моностилистической культуры. Но только некоторые из этих стилей имеют экспансионистский потенциал, то есть представляют собой потенциальную опасность как для политической демократии, так и для политической культуры вообще. Сейчас трудно определить однозначно, каковы шансы тотализации тех или иных фундаменталистских течений в России. Во всяком случае, предпосылки для их развития налицо» [1, с. 196, 199].

Предоставляю читателям самим судить, насколько объяснение Иониным завершения социалистической культуры и краха СССР (роль культуры, неэффективность управления, невозможность идентификации личности и др.), с точки зрения развития дальнейших событий (ведь оно нам известно), удовлетворительное. На первый взгляд, это объяснение выглядит очень общим, только частично схватывающим процессы, которые происходили. Однако я как бы слышу разъяснения и самого Юрчака.

«Конечно, — как бы говорит он, — я читал объяснения, похожие на те, которые принадлежат Ионину. Но они меня не удовлетворяли, хотя со многими положениями, сформулированными Иониным, я могу согласиться. И вот почему не удовлетворяли. К объяснениям быстрого краха СССР я предъявлял два условия. Во-первых, они должны раскрывать трансформацию сознания советского человека, поскольку если бы не изменилось сознание, ничего бы не произошло. Во-вторых, подобное объяснение как научное должно было моделировать и описывать процесс подобной трансформации: исходную ситуацию и пусковой механизм, изменения, повлекшие за собой другие изменения, и так вплоть до краха. Первое условия я нащупал, когда вышел на семиотическую трактовку дискурса, второе — как вы пишете, на диспозитивную трактовку дискурса. Да, согласен, понятие дискурса у меня центральное в научном отношении».

Поскольку это разъяснение виртуальное, неважно, что оно высказано не самим Юрчаком, но надеюсь, что он бы не стал против него возражать. Думаю еще, что если попытки понять, почему «это было навсегда, пока не кончилось», продолжают, то очевидно, что вопросы о завершении советской культуры и гибели СССР снова стали актуальными.

Литература

1. *Ионин Л.Г.* Социология культуры. М.: Логос, 1996. 278 с.
2. *Копелев Л.З.* Евгения Гинзбург в конце «Крутого маршрута». <https://biography.wikireading.ru/hNiT8B9WKS>
3. *Розин В.М.* Введение в схемологию: схемы в философии, культуре, науке, проектировании. М.: URSS, 2011. 255 с.
4. *Розин В.М.* Культурно-психологическое истолкование понятий «развитие» и «жизненный мир» // Психология и психотехника. 2022. № 1. С. 55–64.
5. *Розин В.М.* Природа социальности: проблемы методологии и онтологии социальных наук. М.: URSS, 2015. 278 с.
6. *Фуко М.* Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Касталь, 1996. 448 с.
7. *Юрчак А.* Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение / Алексей Юрчак; предис. А. Беляева; пер. с англ.; 7-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2022. 664 с.

References

1. Ionin L.G. *Sociologiya kul'tury* [Sociology of culture]. Moscow: Logos, 1996. 278 p. (In Russian.)
2. Kopelev L.Z. *Evgeniya Ginzburg v konce «Krutogo marshruta»* [Evgenia Ginzburg at the end of the “Steep Route”] <https://biography.wikireading.ru/hNiT8B9WKS> (In Russian.)

3. Rozin V.M. *Vvedenie v skhemologiyu: skhemy v filosofii, kul'ture, nauke, proektirovanii* [Introduction to circuitry: circuits in philosophy, culture, science, design]. Moscow: URSS, 2011. 255 p. (In Russian.)

4. Rozin V.M. *Kul'turno-psihologicheskoe istolkovanie ponyatij «razvitie» i «zhiznennyj mir»* [Cultural and psychological interpretation of the concepts of “development” and “life world”] // *Psihologiya i psihotekhnika* [Psychology and psychotechnics]. 2022. No. 1. Pp. 55–64. (In Russian.)

5. Rozin V.M. *Priroda social'nosti: problemy metodologii i ontologii social'nyh nauk* [The nature of sociality: problems of methodology and ontology of social sciences]. URSS, 2015. 278 p. (In Russian.)

6. Fuko M. *Volya k istine. Po tu storonu znaniya, vlasti i seksual'nosti*. [The will to truth. Beyond knowledge, power and sexuality] Moscow: Kastal, 1996. 448 p. (In Russian.)

7. Yurchak A. *Eto bylo navsegda, poka ne konchilos'. Poslednee sovetskoe pokolenie* [Yurchak A. It was forever until it was over. The last Soviet generation] / Aleksej Yurchak; predis. A. Belyaeva; per. s angl.; 7-e izd. [Alexey Yurchak; pred. A. Belyaeva; lane from English; 7th ed.]. Moscow: New Literary Review, 2022. 664 p. (In Russian.)

Comprehension and understanding of the book “It was forever until it was over. The last Soviet generation”

Rozin V.M.,
D. Philosopher Sc., professor,
Chief Researcher
Institute of Philosophy RAS, Russia,
109240, Moscow, st. Goncharnaya, 12, building 1
ORCID: 0000-0002-4025-2734
rozinvm@gmail.com

Annotation: The article discusses the book by A. Yurchak, in which he offers a scientific explanation of the causes and process of the completion of socialist culture and the death of the USSR. The author analyzes the central concept used in this explanation — “authoritative discourse”, showing that the latter is interpreted in two ways: within the framework of the semiotic approach outlined by John Austin, and the “dispositive” approach developed by Michel Foucault. Based on the analysis of the case from the book, the author offers his own reconstruction and concepts (“schemas”, “life world”, “sociality”) that can complement Yurchak’s research. A comparison of the latter’s explanation and the explanation of sociologist Leonid Ionin, carried out during the period of perestroika and reforms, made it possible to clarify Yurchak’s approach and methodology.

Keywords: discourse, dispositive, approach, text, understanding, meaning, reconstruction, culture, consciousness, individual.